

ИНТЕРВЬЮ С ПУСТОТОЙ



Они стояли на берегу замёрзшего озера —
трое, но каждый по отдельности.

Ирина Яценко

Ирина Яценко

Интервью с пустотой

<https://litres.ru/74299939>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тот, кто всех мирит. Та, кто всё контролирует. Та, кто научилась исчезать, чтобы никому не мешать.

Эти роли выучили в детстве. Их одобрили молча — не злыми словами, а взглядами, которые говорили: будь полезным, будь красивой, не создавай проблем. Вы стали ими настолько, что перестали слышать себя даже в тишине.

А теперь — изоляция. Метель. Семь дней без интернета, без привычных дел, без ролей, которые держали вас на плаву. Остаётся только вы — настоящие. И вопрос, который вы боялись задать себе годами:

Кто я, если меня не за что похвалить?

Каждый носит в себе то, что нельзя показать. Слова, которые нельзя произнести. Правду, которая стала частью тела — и болит при каждом движении.

Они приехали, чтобы помириться друг с другом. А придётся — чтобы наконец встретиться с собой.

«Это не книга о том, как семья становится счастливой. Это книга о том, как перестать быть тем, кем тебя сделали. И впервые — услышать себя».

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	26
Глава 3	51

Ирина Ященко

Интервью с пустотой

Глава 1

Такси остановилось у ворот, не заехав внутрь. Водитель буркнул что-то про снег на трассе, Арсений кивнул, не вслушиваясь. Дверь хлопнула. Машина развернулась и ушла.

За воротами стоял прицеп, гружённый дровами. Рядом работал мужик лет шестидесяти скидывал поленья с борта на землю — ровно, не глядя, привычно. Арсений взял рюкзак двумя руками, хотел перехватить поудобнее.

— Здравствуйте.

Мужик обернулся. Кивнул, не останавливаясь. Махнул рукой куда-то в сторону крыльца — мол, иди, всё там — и снова взял полено. Дрова ударились о мёрзлую землю с коротким стуком.

Арсений пошёл к крыльцу.

Ступени скрипели по очереди, каждая на своей ноте. Рюкзак давил на левое плечо — он так и не перепаковал его нормально, бросил вещи в последний момент. Над входом висела вывеска: «Золотые пески». Буква «З» держалась на одном шурупе и смотрела чуть вкось, будто прислушивалась к чему-то внизу. Краска облезла по краям, обнажила серое

дерево.

Он толкнул дверь.

Внутри пахло сосной и чем-то старым — не затхлым, нет, а именно старым: лаком, временем, тем запахом, который бывает в домах, где долго никто не жил, но вещи остались. В холле справа на стене висел дисковый телефон. Арсений остановился. Провод на корпусе, трубка на рычаге, весь — как механизм, который когда-то работал. Арсений хотел потрогать, но не стал. Если прикоснуться к каждому старому предмету, окажется, что ты не приехал, а вернулся.

Общий зал открывался прямо. Потолок высокий, доски пола широкие и тёмные, под окнами — диваны с прямыми спинками, обитые чем-то бордовым, вытершимся до голой ткани на подлокотниках. У дальней стены стоял рояль.

Арсений поставил рюкзак у дивана и подошёл к нему.

«Красный Октябрь» — написано на крышке чёрными буквами, под слоем старого лака. Крышка клавиатуры поднята. Кто-то её не закрыл, или закрывать не имело смысла — рояль и так никуда не денется. Арсений провёл пальцем по одной клавише, не нажимая. Слоновая кость пожелтела, кое-где потрескалась по краям.

Он нажал.

Звук вышел не тот. Не то чтобы неправильный — просто куда-то вбок, в сторону от того места, куда он должен был прийти. Расстроен. Арсений убрал руку.

Достал телефон.

Сигнал был — два деления, буква «Е» в углу экрана, едва живые. Он написал Астрид: «Я на месте». Отправил. Сообщение зависло с часиками. Он подождал, сунул телефон в карман, достал снова — ушло. Хорошо.

Астрид напишет, когда сядет в самолёт. Или не напишет, и он узнает о её приезде, только когда услышит машину у ворот. Инга позвонит с дороги — раз, по делу: "Во сколько ужин". Он забронировал три комнаты. Камин работал, он проверил. Продукты он заказал заранее, чтобы не бегать. Он приехал первым. Если он сделал всё, что мог, никто не сможет сказать — он не старался.

Но вот он сидел на диване, а за окном было озеро, и он не знал, что будет, когда сёстры приедут. Он знал только, что его руки — пустые. Они лежали на коленях, и нечем было их занять. Он сел на диван у камина. Он был холодный — дрова ещё лежали снаружи, ждали, пока Василич сложит их у крыльца. В стёклах двух окон напротив отражался зал: ро-яль, телефон на стене, он сам — тёмная фигура на бордовом диване.

За окном было озеро.

Зимой оно казалось почти чёрным. Не тёмно-синим, не серым — именно чёрным, как будто вода подо льдом забрала весь цвет и не вернула. Арсений смотрел на него и думал, что название — «Золотое озеро», так его здесь называли — совсем не про зиму. Может, летом оно золотое. Может, на закате. Но сейчас — нет. Сейчас оно было просто большим

и тёмным, и берег у него был белый, а дальше — ничего, только плоская чернота до горизонта.

«Золотые пески». «Золотое озеро». Кто-то очень хотел, чтобы всё здесь называлось правильно.

Арсений откинулся на спинку дивана. Рюкзак стоял у его ног, незастёгнутый — он так и не убрал его в комнату. Снаружи снова ударили поленья об землю. Ровно, без спешки. Мужик делал своё дело.

Семь дней. Он попросил их приехать сюда на семь дней — между праздниками, когда никто не работает и все сидят по домам. Пансионат на Алтае, который нашёл случайно — листал площадку поздно ночью и просто нажал.

Теперь он думал: а если они всё равно уйдут? Не из дома — из разговора. Начнут отвечать коротко, как на работе. "Передай соль". "Спокойной ночи". Он знал этот звук — как двигатель, который не заводится, а просто крутит стартер, пока не сядет аккумулятор. Он слышал его уже тысячу раз. Он знал, как он заканчивается — тишиной, после которой все расходятся по углам.

Дверь снаружи хлопнула. Василич прошёл мимо окна, не посмотрев внутрь. Через минуту завёлся трактор — негромко, деловито — и звук начал удаляться, пока совсем не пропал за деревьями.

Стало тихо.

Арсений смотрел на озеро. Название не подходило. И он подумал, что так бывает — когда вещь называется одним, а

на деле она совсем другое. Как он сам. Его называли Арсений. "Мужественный". А он сидел на диване и боялся нажать на клавишу рояля.

* * *

Машина остановилась у ворот в половину четвёртого — Арсений понял это по тому, как стемнело: Алтай зимой темнеет рано, и когда фары прорезали сосны, за окнами уже было совсем темно.

Он вышел на крыльцо без куртки. Морозный воздух ударил сразу, до лёгких.

Это было не такси — Астрид брала частника, он знал. Из машины она вышла быстро, не оборачиваясь, чемодан потащила сама. Один чемодан, тёмно-синий, с разноцветной лентой на ручке — чтобы отличать на конвейере. Умная деталь. Он не сказал этого вслух.

Машина развернулась и уехала. Астрид стояла у ворот и смотрела на пансионат — на вывеску с облупленными буквами, на деревянные корпуса, на огонёк над крыльцом.

Молчала.

Арсений тоже молчал. Он спускался по ступенькам, а она всё стояла и смотрела — не на него, а на здание, и по её лицу было сложно читать. Не удивление, не разочарование. Что-то другое. Может, просто усталость с дороги.

— Дай, — сказал он, и взял чемодан.

Астрид не сопротивлялась. Отпустила сразу, без пауз. Она никогда не делала из этого истории — ни когда он брал тяжё-

лое, ни когда открывал дверь. Просто принимала, как принимают само собой разумеющееся. Это их обычный способ говорить друг другу что-то, для чего не было слов.

— Долго ехал частник?

— От Горно-Алтайска час с небольшим. Дорогу подмело.

— Угу.

Они вошли.

В холле она остановилась у телефона-автомата — старого, дискового, покрытого слоем пыли. Провела пальцем по диску, не вставляя монеты. Диск крутанулся и вернулся на место с тихим щелчком.

— Рабочий?

— Нет.

Она кивнула и пошла дальше.

Коридор был длинный, с деревянными панелями на стенах и ковровой дорожкой, которая когда-то была красной, а теперь была просто тёмной. Арсений шёл первым, чемодан тянул за собой — колёса по дорожке почти не стучали. За их спинами потрескивал камин в зале.

— Инга написала?

Голос Астрид был ровный. Вопрос без интонации, как будто она спрашивала про погоду.

— Едет. Задержалась в Новосибирске.

Пауза. Дорожка закончилась, колёса стукнули о деревянный пол.

— Конечно.

Одно слово. Арсений не обернулся. В этом «конечно» было что-то, что он не хотел сейчас разбирать — не потому что не мог, а потому что знал: если начнёт, то не закончит до ужина, а до ужина им ещё нужно было как-то добраться.

В конце коридора было окно. Астрид остановилась у него — резко, будто налетела на что-то невидимое. Арсений придержал чемодан.

За окном было озеро. В темноте Арсений видел только белый снег и чёрную поверхность за ним. Но Астрид смотрела так, будто могла разглядеть больше — может, трещины на льду, может, глубину. Её глаза привыкли к микроскопам и срезам тканей. — Оно замёрзло, — сказала она.

— Да.

Она постояла ещё секунду. Смотрела. Арсений смотрел на её профиль — на то, как она чуть прищурилась, как будто пыталась рассмотреть что-то в темноте, чего там не было.

Потом она отвернулась.

— Где моя комната?

Её комната была через одну от его. Арсений открыл дверь, внёс чемодан, поставил у стены.

Комната была небольшой, с потолком, который немного давил — советские пропорции, не для высоких. Железная кровать с никелированными набалдашниками, покрывало в блёклую клетку. Шторы плотные, бордовые, с тяжёлой бахромой внизу — такие умеют делать полную темноту, если захотеть. На стене над столом — репродукция, сосны в ту-

мане. Шишкин, без подписи.

Астрид прошла к батарее. Положила ладонь на металл — подержала.

Кивнула. Медленно, едва заметно.

— Горячая, — сказал Арсений.

— Вижу.

Она огляделась — не торопливо, а внимательно, как будто составляла опись. Шкаф, стол, лампа с жёлтым абажуром. Окно выходило не на озеро, а на сосны — там темнота была другой, плотной, с теменью между стволов.

— Нормально, — сказала она наконец.

Арсений не знал, что имелось в виду — комната или вся эта затея целиком. Спрашивать не стал.

— Ужин часов в восемь. Я что-то привёз, в холодильнике есть. Как Инга приедет.

— Хорошо.

Он почти вышел, когда она спросила:

— Ты хоть представляешь, чем это кончится?

Спросила не зло. Просто спросила — тем же ровным голосом, каким говорила про лёд на озере. Арсений обернулся. Астрид сидела на кровати, спина прямая, руки на коленях. Смотрела на него.

Он думал секунду.

— Нет.

Она чуть наклонила голову.

— Честно.

— Ну.

Больше говорить было не о чём. Он взялся за ручку двери.

— Арс.

— Да?

Астрид посмотрела на окно — на тёмные сосны, на снег у подоконника снаружи.

— Спасибо.

Арсений кивнул. Вышел в коридор и притворил дверь за собой.

Постоял.

Откуда-то снаружи — с той стороны, где была парковка, — донёсся слабый ветер. Или ему показалось. Он подождал ещё немного, потом пошёл к себе.

В конце коридора было слышно, как Астрид закрывает дверь своей комнаты. Не хлопает — просто закрывает, тихо, до щелчка замка.

Арсений остановился у окна. За стеклом озеро было глухим.

Он подумал: может, она права. Может, он не представляет. Может, именно поэтому и надо было приехать.

* * *

В общем зале никого не было.

Арсений вошёл и остановился у двери. Зачем зашёл — не знал. В комнате ему было тесно, а в коридоре — просто длинно и пусто, и в итоге ноги сами принесли сюда. Он постоял, прислушался. Из-за стены — тишина. Астрид у се-

бя. Где-то в трубах щёлкало — батареи доходили до нужной температуры, неторопливо, с характером.

Рояль стоял у стены напротив.

«Красный Октябрь» — он прочитал это ещё при заселении, когда проходил мимо. Буквы на деке чуть осыпались, золото потускнело, но название держалось. Рояль был коричневым, почти чёрный в нынешнем полусвете — только одна лампа горела, в углу, с матерчатым абажуром. Крышка закрыта.

Арсений подошёл. Провёл пальцем по крышке — на пальце осталась пыль, серая, чуть влажная от возраста. Он вытер о джинсы.

Потом сел на банкетку. Она немного просела под ним — старая кожа, треснувшая посередине, ватин под ней слежался в комок.

Он открыл крышку клавиш. Клавиши пожелтели неравномерно: те, что посередине, — сильнее, крайние — почти чистые. Понятно: до крайних руки дотягиваются реже. Он нажал «ля» первой октавы. Звук вышел сырым, чуть поплывший. Рояль не строился, наверное, лет двадцать, а то и больше — это слышалось сразу, без тонкого слуха, просто физически, в груди.

Арсений опустил крышку клавиш обратно.

Помолчал. Потом — не зная зачем, просто потому что руки нашли — потянул за крышку нотного отделения. Она поддалась с лёгким скрипом. Петли давно не смазывали.

Внутри было пусто.

Почти.

Он увидел пыль сначала — она лежала ровным слоем, как серая замша. Запах — бумага, старая, та, у которой уже нет отдельного запаха книги, только время, только чуть кислотоватое. Он почти закрыл крышку, но краем глаза приметил что-то белое — угол бумаги, выглядывающий из-под пыли, и это заставило его замедлиться.

Он нагнулся. Сунул руку в дальний угол отделения.

Пальцы нашли лист.

Сложенный вчетверо, плотный, чуть жёсткий на сгибах — как бывает с бумагой, которую складывали и разворачивали, а потом сложили снова и больше не трогали. Арсений вытащил его осторожно, как будто боялся сломать.

Развернул.

Круглые буквы сразу бросились ему в глаза, нажим сильный, местами чернила продавили бумагу. Он знал этот почерк.

Бабушкин.

Он понял это раньше, чем прочитал хоть слово. Почерк как лицо — его не объясняешь, просто узнаёшь.

Вверху справа — дата: «август 2002».

Арсений прочитал.

«Мои дорогие.

Я не умею говорить это вслух, вы знаете. Наверное, вы это знаете. Если нет — значит, я совсем плохо справилась.

Я хотела написать вам кое-что, пока мы здесь с дедом. Здесь тихо, и я думаю о вас. О том, какие вы разные и как я боюсь, что когда-нибудь вы забудете, что вы — одни.

Инга, ты умеешь держать всё в руках. Ты делаешь это так хорошо, что я иногда боюсь за тебя. Потому что руки устают.

Астрид, ты светишься. Я не знаю другого слова. Тыходишь в комнату — и что-то меняется. Это не только лицо, хотя ты, наверное, думаешь, что только лицо.

Арсений, ты ещё маленький, ты не прочитаешь это долго. Но ты добрый. Не потому что тихий — а по-настоящему добрый, изнутри.

Я хочу, чтобы вы знали: я вас люблю не за то, что вы делаете. А за то, что вы есть. Хотя я, наверное, никогда не говорила это правильно.

И ещё — простите меня за то, что...»

Дальше — ничего.

Фраза обрывалась на середине. Не точка, не запятая — просто конец, там, где рука остановилась или не нашла слов, или нашла, но не успела.

Арсений сидел.

Рояль молчал.

За окном стемнело окончательно — он это заметил только сейчас, как будто пока читал, кто-то тихо выключил свет снаружи. Озеро за стеклом исчезло, осталась только чернота и отражение лампы в углу — маленькое, далёкое, почти неживое.

Он перечитал последнюю строчку.

«Простите меня за то, что...»

Он подумал: может, карандаш сломался. Или позвал дед. Или просто — не смогла.

Скорее всего — просто не смогла.

Она написала слово «простите» — и остановилась. Потому что дальше нужно было назвать это что-то, а называть это она не умела. Он знал это про неё. Не зная, как это знает — просто через всё, через каждый раз, когда она молчала там, где другие говорили.

Арсений посидел ещё.

Потом сложил лист.

Делал это медленно, по старым сгибам — они сами давали направление, как будто бумага помнила форму. Раз, ещё раз, ещё. Маленький прямоугольник лежал в ладони — тёплый от рук, хотя бумага должна была быть холодной.

Он посмотрел на него.

Куда положить — он не знал. В отделение обратно — нет, не мог. Оставить на крышке рояля — нет. Положить в карман куртки — куртка висела на спинке банкетки, он накинул её ещё в коридоре и так и таскал за собой.

Он сунул лист во внутренний карман. Прижал ладонью снаружи, почувствовал слабый прямоугольник под тканью.

Не потому что принял решение.

Просто — больше некуда.

Он закрыл крышку нотного отделения. Встал. Банкетка

скрипнула с облегчением.

В зале было так тихо, что он слышал своё дыхание. Лампа в углу гудела чуть слышно — этот звук всегда есть в старых лампах, просто замечаешь его только в полной тишине.

Арсений постоял рядом с роялем. Потом положил руку на крышку — так, плашмя, не нажимая. Постоял так немного.

За окном ничего не было видно.

Он убрал руку и пошёл к двери.

* * *

Инга приехала в половине десятого.

Арсений услышал машину раньше, чем увидел свет фар — сначала тихий хруст снега на подъездной дорожке, потом два жёлтых пятна в темноте за окном. Он стоял у плиты и помешивал суп.

— Едет, — сказал он в сторону коридора.

Астрид не ответила. Она сидела за столом и смотрела в телефон — ловила те два барашка связи, которые иногда мерцали у окна.

Арсений убавил огонь и пошёл открывать.

Инга поднялась на крыльцо в пальто — тёмно-сером, городском, совсем не для этих мест. Из-под пальто выглядывал шарф, намотанный аккуратно, как будто она специально так намотала перед выходом из такси. В одной руке — дорожная сумка, в другой — телефон с фонариком.

— Добрался нормально? — спросила она Арсения.

— Нормально. Давно приехал.

Она вошла в холл. Арсений взял у неё сумку — она не сопротивлялась, но как-то так, что понятно было: не потому что устала, а потому что не стала возражать.

В дверях большого зала стояла Астрид. Инга посмотрела на неё. Астрид посмотрела на Ингу.

— Привет, — сказала Инга.

Астрид кивнула.

Больше ничего не было сказано.

Арсений отнёс сумку в комнату Инги — в конце коридора, ту, что с видом на берег — и вернулся к плите.

Он привёз его в термосе из дома — куриный, простой, без лишнего. Ехал двенадцать часов с пересадкой, и всё время думал: надо привезти что-то готовое, чтобы не тратить первый вечер на готовку. Чтобы сразу было что поставить на стол.

Он разлил суп по тарелкам. Три тарелки, три ложки, хлеб из пакета — нарезанный ещё дома, в целлофане, немного слежавшийся, но есть можно.

— Идите есть, — позвал он.

Они пришли.

Сели за стол — Инга напротив Астрид, Арсений с торца. Первый раз за два года — но он не думал об этом так прямо, пока не сел. А потом подумал и сразу перестал, потому что если думать об этом прямо — руки начинают делать что-то не то. Он взял ложку.

Инга держала ложку правильно — как держат ложку лю-

ди, привыкшие есть за столом. Астрид смотрела в тарелку. Арсений ел и краем глаза держал их обеих.

Молчание было не злым. Просто очень плотным.

— Как дорога? — спросила Инга.

— Нормально, — сказала Астрид. — Долго.

Пауза.

— Связь здесь есть? — спросила Астрид.

— На крыльце, — сказала Инга. — Два деления. Интернета нет.

— Я заметила.

— Так написано было на сайте.

— Я читала.

Это было не ссорой. Это было как переговоры двух стран, которые давно не открывали границы и забыли, как это вообще делается. Каждая фраза — вежливая, каждая — чуть короче, чем нужно.

Арсений съел полтарелки.

— Здесь рояль, — сказал он. — В большом зале. «Красный Октябрь».

Сёстры посмотрели на него.

— Бабушкина любимая марка была, — добавил он.

Пауза.

— Она сюда приезжала? — спросила Астрид.

— С дедом. В двухтысячных, кажется. — Он попытался вспомнить точнее, но не смог.

Астрид опустила взгляд обратно в тарелку.

Инга ничего не сказала. Взяла хлеб, отломил кусок, положила рядом с тарелкой. Больше к теме не вернулась — и он не стал тянуть.

Они доели.

Арсений встал, собрал тарелки — своей рукой, одну за другой, не спрашивая. Отнёс к раковине. Открыл кран: вода шла с задержкой, несколько секунд просто воздух, потом ржавая струя, потом нормальная, холодная.

Он мыл тарелки и слышал, как за спиной Инга и Астрид встали из-за стола. Не слышал — что говорят, потому что они ничего не говорили. Просто звук отодвигаемых стульев, потом шаги.

Потом — скрип половиц в коридоре. Инга шла тяжелее, уверенней. Астрид — почти бесшумно.

Он домыл тарелки. Поставил сушиться.

Скрип стих. Хлопнула одна дверь — негромко, просто закрылась. Потом вторая.

Потом тишина.

Арсений вытер руки о полотенце, висевшее на крючке у плиты. Полотенце было чужое — осталось от прошлых постояльцев или хозяев, вылинявшее, в клетку. Он повесил его обратно.

На плите остывал суп в кастрюле — чуть больше половины, он взял меньше, чем рассчитывал. Завтра доедят. Или не доедят — неважно.

Он прижал ладонь к левому карману куртки, брошенной

на соседний стул. Почувствовал сквозь ткань — маленький прямоугольник. Бумага.

Рояль молчал в соседней комнате.

Арсений стоял у раковины, один, в кухне, которая пахла чужим деревом и старым дымом. Где-то за стеной, за окном — озеро, невидимое, огромное, покрытое льдом. Он не слышал его и не видел — но знал, что оно там.

Он выключил свет в кухне.

Вышел в коридор.

* * *

Коридор принял его темнотой — не полной, где-то в конце сочился слабый отсвет от окна, но достаточно густой, чтобы идти медленно. Половицы скрипели под каждым шагом: он давно заметил, что этот пол помнит людей — каждого отдельно, по весу и походке.

В общем зале было холоднее, чем на кухне. Камин к вечеру остыл — угли, наверное, ещё тлели, но жара уже не давали. Остановился у рояля.

«Красный Октябрь» стоял в темноте — крышка закрыта, силуэт плотный и тёмный, как что-то, что решило не двигаться. Арсений не стал его открывать. Просто постоял рядом секунду.

И тут же прошёл к окну.

Снаружи было темно, но не глухо: где-то далеко, там, где кончалась земля и начинался берег, лежала белая полоса. Лёд. Арсений смотрел на неё, пока глаза не привыкли. Само

озеро не угадывалось — только эта кромка, неровная, матовая, как бумага, которую скомкали и расправили обратно. Дальше — ничего. Темнота, которая могла быть водой под льдом, а могла — просто ночью.

Он не знал, почему это успокаивает. Наверное, потому что озеро не требовало ничего.

Арсений опустил руку в левый карман куртки.

Бумага лежала там, где он её положил. Сложенный вчетверо лист — нотный, в линейку, пожелтевший по краям. Он вынул его и держал в руке, не разворачивая. Пальцами нащупал сгибы: один был резкий, старый, почти протёртый насквозь, другие мягче — его. Он складывал уже своей рукой, наспех, за роялем, пока Астрид шумела на кухне.

Почерк бабушки — мелкий, с наклоном, буква «з» всегда больше остальных. Она писала: «дорогие мои» — и дальше. Дальше он прочитал слишком быстро. Успел заметить только, что строчки заканчивались на середине фразы. Как будто её позвали — и она отложила и не вернулась.

Он держал записку и смотрел в окно на белую полосу льда.

Мать говорила не ему — она говорила отцу. Они стояли на кухне, он — на балконе, дверь была приоткрыта. Осень, листья уже облетели, и он зачем-то вышел покурить, хотя не курил уже два года. Просто вышел постоять. И услышал.

«Боюсь, — сказала мать, — они больше никогда не помирятся».

Отец не ответил. Или ответил что-то тихое, он не расслы-

шал. Потом скрипнул стул, звякнула посуда — они ужинали, всё было как обычно.

Арсений стоял на балконе и смотрел на соседние крыши. Голуби сидели на карнизе напротив. Один чистил перья, другой просто смотрел вниз — как будто тоже слышал и думал.

Через три дня он купил три билета.

Не сразу придумал куда. Просто открыл сначала, не думая. Набрал: «пансионат Алтай зима», посмотрел первое, что выдало, — «Золотые пески», советские деревянные корпуса, фотографии с летними цветами на обложке и одна зимняя, размытая, где берег и лёд. Прочитал про связь — только голосовая, рвётся, интернета нет. Про дрова — привозит сторож. Про рояль в общем зале — просто упоминание в отзыве, кто-то писал: «рояль расстроен, но стоит».

Он позвонил сначала Инге, потом Астрид. Обоим сказал одно и то же: «Я хочу, чтобы мы съездили». Инга спросила: «Зачем». Астрид спросила: «Когда». Ни та, ни другая не сказали «нет».

Он сам не мог бы объяснить — зачем именно. Хотел, чтобы они поговорили. Хотел, чтобы перестали молчать. Хотел — он прижал бумагу чуть крепче — чтобы они увидели: он здесь. Не только как тот, кто мирит и гасит. Просто — здесь.

Арсений спрятал записку обратно в карман.

Пошёл в коридор, потом в комнату — третья дверь справа, он выбрал её потому, что она смотрела на озеро, хотя в

темноте это ничего не значило.

Свет в комнате не включал. Просто снял куртку — медленно, одну руку, потом другую — и повесил на спинку стула у двери. Лёг на кровать поверх покрывала, в свитере и джинсах. Под покрывалом, наверное, было бы теплее, но разбирать постель не хотелось.

Он лежал и слышал тишину.

Не ту тишину, которая бывает дома — с гулом трубы, с машинами за окном, с соседом, который всегда что-то двигал в полночь. Здесь тишина была другая: плотная, как вата, без промежутков. Только изредка — что-то в стенах, дерево остывает и чуть сдвигается. За стеной справа — Инга. За стеной слева, дальше по коридору — Астрид. Ни звука от них. Тоже лежат, наверное. Или не спят.

Он думал: вот первый день прошёл. Они поели. Никто не ушёл.

Это казалось достижением — и одновременно почти ничем. Потому что за ужином они не сказали друг другу ничего, что имело бы значение. «Как дорога». «Нормально». «Долго». Он говорил про рояль — это было глупо, наверное, но он не знал, что ещё. Бабушка сюда приезжала.

Он не знал точно, когда именно. Он вообще многое не помнил про неё — по-настоящему. Помнил запах её кухни, пироги с брусникой, то, как она говорила его имя — «Арсе-ний», всегда с паузой посередине, будто имя было длиннее, чем казалось. Помнил, как она звонила в январе два-

дцать первого и говорила: приезжай, я пирогов напеку.

Он обещал через месяц.

Через неделю её не стало.

Арсений повернулся на бок. Куртка висела на стуле в двух шагах. В кармане — бумага, сложенная вчетверо. Он знал, что не будет спать ещё долго — не потому, что тревожно, а потому что тишина здесь такая, что кажется: надо за ней следить. Вдруг что-то изменится.

Метели ещё не было. Озеро молчало.

За стеной — ни звука.

Он лежал и слушал, как ничего не происходит. И это было как-то хуже, чем если бы что-то происходило — потому что если ничего не происходит, значит, всё ещё впереди.

Глава 2

Инга проснулась без четверти семь — раньше будильника, который и не заводила. Просто открыла глаза, как будто внутри кто-то щёлкнул выключателем.

За окном всё было серым. Не рассвет и не ночь — что-то посередине, без перехода. Небо и озеро одного цвета, одной плотности, и граница между ними угадывалась только потому, что она знала: граница должна быть. Берег — полоса тени, не шире ладони. Лёд, наверное. Снег. Она не могла сказать наверняка.

Инга встала.

Постельное бельё было советское — пахло стиральным порошком и чем-то ещё, что бывает в шкафах, которые долго не открывали. Плед она за ночь сбросила. Пол холодный, поэтому она сразу обулась — тапочки из домашней сумки, плоские, без каблука, удобные. Взяла свитер со спинки стула, натянула поверх пижамы. Посмотрела в окно ещё раз.

Озеро по-прежнему не отличалось от неба.

Она вышла в коридор.

В пансионате стояла та тишина, которая бывает в домах с деревянными перекрытиями — не мёртвая, а как бы дышащая: где-то что-то чуть скрипело, оседало, привыкало к холоду. Три двери: её, Арсения, Астрид. Все закрыты. Ни звука. Инга пошла вниз, держась за перила, — ступени скрипе-

ли под ногами, и она машинально ступала ближе к краю, там, где меньше.

Общий зал был именно таким, каким она его запомнила с вечера, — только светлее. Немного. Через грязные окна тянулся серый январский свет, и в нём стало видно то, что вечером терялось в полутени.

Лепнина под потолком — с орнаментом, советским, из тех, что были везде в семидесятых: листья, стилизованные цветы, углы потемнели от пыли и, кажется, от времени. В одном месте кусок отошёл и висел, держась на чём-то невидимом. Инга отметила это автоматически — отслоение. Наверное, сырость. Потолок в трещинах, небольших, но сетчатых. Нужно было бы посмотреть на несущие стены.

Она не стала.

Телефон-автомат в углу — дисковый, серый, на стене, рядом с пожелтевшей инструкцией в рамке. Трубка на рычаге, диск треснутый, провод обрезан аккуратно, у самой розетки. Не сломан — отключён намеренно, когда-то. Декорация. Она не могла понять, зачем его оставили — но потом поняла, что это не её вопрос.

Рояль — у дальней стены, пыльный, с облезшими буквами названия.

Она прошла на кухню.

Кухня была маленькой и функциональной — холодильник, электроплита, раковина, подвесные шкафчики. Всё из той же эпохи, что и зал, но здесь хотя бы чисто. Кто-то при-

бирался. Сторож, наверное — или просто сюда меньше заходили. На столешнице стояли чайник — электрический, дешёвый, с трещиной на ручке — и жестяная банка. Инга открыла банку: растворимый кофе, «Нескафе», почти полная. Значит, купили специально к их приезду. Или кто-то оставил раньше.

Она наполнила чайник из-под крана, поставила.

Пока он грелся, стояла у окна. Кухонное окно смотрело не на озеро — на двор, на ели, на сторожку в отдалении. Из трубы сторожки шёл дым — тонкий, почти прозрачный. Значит, сторож уже встал. Или не ложился. Дрова у крыльца лежали кучей, накрытые куском брезента — Инга видела это ещё вчера, когда заходила в дом. Она оценила: дров хватит дня на четыре, если не больше. Это хорошо.

Чайник вскипел. Она насыпала кофе в кружку — одну, себе — залила, не мешала. Просто смотрела, как коричневый порошок расходуется в кипятке. Взяла кружку, обхватила обеими руками. Тепло.

Есть хотелось, но она не знала, что здесь с едой, — вчера они ели то, что дал Арс. Нужно было обсудить с ним, что докупить и как. Ближайший магазин, судя по карте, в пятнадцати километрах, в посёлке. Дорога пока открыта. Это тоже нужно учесть.

Инга не садилась. Стоять у окна с кружкой было правильнее — когда сидишь, начинаешь ждать. А ждать было нечего: день начался, нужно его организовать.

Она думала: завтрак в восемь. Она сварит кашу или сделает яичницу — смотря что есть. Потом — выйти на улицу, пока погода держится. Прогулка вдоль берега, час, не больше. Воздух, движение. Это полезно — помогает говорить потом, когда тело не сжато и не затёкшее. А вечером — разговор.

«Разговор» она не стала уточнять даже мысленно. Просто: вечером разговор. Она поставила это в расписание, как встречу в календаре, без agenda — потому что agenda пока не было, и это было некомфортно, но она умела работать без agenda. Главное — чтобы все были за столом. Чтобы никто не ушёл к себе.

Астрид уйдёт, если дать ей возможность.

Инга отхлебнула кофе. Горький, слабый, не то что дома. Она пила.

Арсений не уйдёт — он созвал их сам. Хотя вчера он весь вечер был какой-то... не такой. Как будто что-то прятал. Она замечала это у него с детства — он умел делать лицо, при котором казалось, что всё нормально, но что-то в глазах было не то. Мать этого никогда не замечала. Астрид замечала, но не спрашивала. Инга спрашивала — и Арсений обычно говорил: «нет, всё хорошо», и она отступала, потому что нельзя давить.

Вчера она тоже не спросила.

Она посмотрела на часы — телефон лежал в кармане, она достала. Семь двадцать. Слишком рано будить. Пусть поспят ещё — это даст ей время привести кухню в порядок, найти,

что есть, составить список.

Она открыла шкаф.

Крупа — гречка, два пакета. Овсянка. Банка тушёнки. Чай в пакетиках, несколько сортов, разные, явно от разных людей — кто-то оставлял. Сахар в открытой пачке. Соль. Масло — она достала, понюхала, нормальное. На нижней полке — несколько картошин, три луковицы, головка чеснока.

Достаточно для завтрака. Для обеда уже нет.

Инга поставила масло обратно, закрыла шкаф. Взяла телефон и открыла записки — начала печатать список: картофель, яйца, молоко, хлеб, что-нибудь на ужин. Мясо, если есть в посёлке. Овощи.

Сверху — скрип.

Отчётливый, один — половица. Кто-то встал. Шаги — медленные, осторожные, как будто человек не хочет шуметь, но пол не даёт такой возможности. Она не могла по звуку определить, кто. Арсений ходит тяжелее, Астрид — почти бесшумно, но здесь всё бесшумное становится громким.

Инга убрала телефон в карман. Поставила кружку на стол. Открыла холодильник ещё раз, достала яйца — пять штук, привезённые Арсением. Поставила кастрюлю, налила воды.

Восемь без малого.

Пусть спускаются. Завтрак будет готов.

* * *

Арсений спустился первым.

Инга слышала его шаги раньше, чем он вошёл — тяжёлые, неровные, как человек, который ещё не проснулся до конца, но уже решил, что проснулся. Он появился в дверях кухни в старом свитере — тёмно-синем, с вытянутым воротом, — волосы стояли торчком с одного бока.

— Спасибо, — сказал он, увидев кофе.

Просто это слово. Взял кружку, отхлебнул. Сел на табуретку у стены, не за стол — немного в сторону, как будто ещё не решил, насколько он здесь.

Инга достала из кастрюли яйца, переложила в миску. Яйца были сварены правильно — восемь минут, она следила. Он не спросил, нужна ли помощь, и она была ему за это благодарна: не потому что помощь была не нужна, а потому что его молчаливое присутствие было другим. Не давящим. Он просто был рядом — с кружкой, с взъерошенными волосами — и это не требовало ничего.

Она поставила миску на стол. Нарезала хлеб — три куса, хлеб был из рюкзака Арсения, городской, уже слегка зачерствевший, но есть можно. Масло достала, соль.

— Есть будешь? — спросила она.

— Угу.

Он встал, пересел за стол. Взял яйцо, покатал по столешнице, чтобы треснула скорлупа. Она смотрела, как он это делает — привычно, без суеты, — и думала, что он единственный человек в этом доме, с которым не нужно ничего объяснять. Он просто садится и ест.

Астрид появилась, когда яйца были уже на столе.

Она вошла бесшумно — Инга даже не услышала шагов, просто вдруг поняла, что в дверях кто-то стоит. Астрид была в длинном сером свитере, волосы собраны небрежно, на лице — ничего особенного. Ни сонности, ни раздражения. Просто лицо.

Она не поздоровалась. Прошла к плите, взяла кружку — не ту, которую Инга оставила для неё, а другую, с полки, — налила кофе. Инга специально не допила, оставила.

Села боком к столу.

Не напротив. Именно боком — как будто случайно, как будто так удобнее. Смотрела в окно: там было серое утро, сосны, снег на ветках. Астрид не взяла яйцо. Просто смотрела в окно, покачивая кружку в руках. Инга заметила это — и ничего не сказала.

Инга подождала секунду.

Арсений чистил яйцо. Аккуратно, по кругу — он всегда так делал, ещё с детства.

— Я думала, — начала Инга, и голос получился ровным, что хорошо, — с утра выйти на берег. Пока погода держится. Час, полтора максимум. Потом вернуться, пообедаем, Арсений говорил, что привёз фотографии. Посмотрим.

Арсений поднял голову, кивнул. Да, привёз.

Астрид не повернулась.

Пауза была длиннее, чем должна была быть. Инга уже открыла рот — уточнить, добавить что-то, потому что тишина

казалась ей провалом, который нужно заполнить, — когда Астрид наконец сказала:

— Я не хочу гулять.

Просто. Не грубо. Как факт: сейчас за окном плюс двенадцать, я не хочу гулять.

Она по-прежнему смотрела в окно.

Инга почувствовала, как что-то сжалось в грудной клетке — не злость, нет, что-то ровнее. Как когда на совещании говоришь очевидное, а человек напротив смотрит в стол и молчит, и ты не можешь понять: не услышал, не согласен или просто ждёт, когда ты замолчишь.

— Необязательно долго, — сказала Инга. — Просто подышать.

— Я подышу здесь.

Арсений положил яйцо на тарелку. Посмотрел на Ингу, потом на Астрид — не тревожно, а как человек, который быстро считает расстояние между двумя точками.

— Можно на крыльцо выйти, — сказал он. — Там вид нормальный. Сосны.

Это было ни к кому конкретно — просто в воздух. Инга сразу сказала:

— Да, можно на крыльцо.

И только потом поняла, что согласилась слишком быстро. Что хотела берег, сосны вдоль воды, движение, — а взяла крыльцо, потому что это был компромисс, и компромисс был важнее того, чего она хотела сама.

Она не стала это обдумывать.

Астрид повернула голову, но ничего не сказала ни да, ни нет. Просто отпила кофе.

Они доели молча. Арсений — быстро, привычно. Астрид — медленно, она больше держала кружку, чем ела. Инга съела своё яйцо стоя, у плиты, потому что места за столом формально было достаточно, но садиться напротив Астрид она не стала — не из принципа, просто так вышло.

За окном облака шли низко. Снег на ветках не осыпался — значит, ветра нет. Погода держалась, пока. Инга смотрела на это и думала, что после обеда, может, всё-таки выйдут на берег. Что вечером можно будет разжечь камин. Что фотографии Арсений привёз — значит, будет, за чем сидеть. Будет повод говорить о чём-то конкретном, а не в пустоту.

Арсений встал, отнёс тарелку к мойке.

— Спасибо, — сказал снова.

Одно слово. Второй раз за утро. Инга убрала со стола — хлеб обратно в пакет, масло в холодильник, кружку Арсения в раковину. Астрид свою чашку не отнесла — оставила на столе, встала, вышла в коридор. Шаги вверх по лестнице.

Инга взяла её чашку. Поставила в раковину.

Арсений стоял рядом, смотрел в окно.

— Нормально, — сказал он, хотя она ничего не спросила.

Она не ответила. Пустила воду.

* * *

Снег у крыльца был утоптан — их же следами, оставлен-

ными ещё вчера. Инга шла первой, держала руки в карманах, проверяла под ногами каждый шаг: под пушистым слоем могло быть что угодно, корень или выбоина. Арсений шёл чуть сзади, без спешки.

Они не договаривались идти вдвоём. Просто Астрид ушла наверх, Арсений взял куртку, Инга взяла куртку, и они вышли.

Берег начинался метрах в тридцати от корпуса — сначала полоса мёрзлой земли, потом прибрежные камни под снегом, потом лёд. Он начинался не резко, а постепенно: у кромки серый, мутный, с пузырьками воздуха внутри — такой не выдержит, сломается под ногой. Дальше светлел, становился плотнее. Инга остановилась в полуметре от кромки и смотрела вниз. Под серым льдом угадывалась вода — тёмная, неподвижная. От неё тянуло сыростью и чем-то металлическим — вода подо льдом дышала.

Она не пошла дальше.

Они двинулись вдоль берега — Инга ближе к воде, Арсений чуть выше, по камням. Сосны стояли редко, без подлеска, и между ними было видно озеро целиком — или то, что от него осталось зимой: белая равнина с серыми разводами у берегов, которую можно было принять за поле, если не знать.

Арсений молчал. Но его молчание было другим, чем у Астрид. Астрид молчала, как закрывают дверь — аккуратно, без хлопка, но ясно. Арсений просто шёл рядом, и тишина вокруг него не давила, она просто была, как бывает тихо в

мастерской, когда работа остановлена, но не брошена.

Инга поняла, что он ждёт. Не требует — ждёт, пока она начнёт.

— Как там у тебя? — спросила она. — На работе.

— Нормально. — Он переступил через камень. — Зимой машин меньше. Спокойнее.

— Понятно.

Она не стала уточнять. «Меньше машин» — это значит меньше денег, это она понимала, но спрашивать было бы неловко. Арсений не просил. Никогда не просил. Она это знала и, честно говоря, иногда именно поэтому ему и помогала — потому что не нужно было ничего объяснять, он просто брал и говорил «спасибо».

Ветер дохнул с озера — холодный, с привкусом сырости, как из погребка. Инга подняла воротник.

Она хотела спросить про Астрид. Хотела спросить: зачем он это придумал, что рассчитывал получить, неужели думал, что одна неделя что-то изменит после двух лет молчания. Но вместо этого сказала:

— Хорошо, что ты это придумал.

Арсений не сразу ответил. Шёл, смотрел себе под ноги.

— Посмотрим, — сказал он наконец.

Это не было ни согласием, ни несогласием. Просто честность — та её форма, которая не обещает больше, чем знает.

Инга почти сказала что-то ещё — про план на вечер, про фотографии, которые он привёз, нужно было держать разго-

вор на чём-то конкретном, — но не успела, потому что Арсений остановился.

Он смотрел на озеро. Не туда, где лёд был серым и ненадёжным, а дальше — на середину, на белое.

— Бабушка здесь была, — сказал он. — С дедом.

Пауза. Инга смотрела на лёд, на белое, где небо и озеро сливались. Ветер тихонько задевал верхушки сосен.

— Я не знал, пока не приехал.

Инга стояла рядом. Смотрела туда же — на белое, на горизонт, который терялся в облаках, и было непонятно, где заканчивается лёд и начинается небо.

Она не знала, что ответить. Не потому что не хотела — просто не нашла слов, которые не были бы лишними. Сказать «да, бывает» — неверно. Сказать «она любила это место» — она не знала, любила ли. Она вообще плохо знала, что бабушка любила. Бабушка не говорила о таком.

Инга подумала: они все трое приехали сюда по-разному. Арсений — с фотографиями в рюкзаке и, видимо, с тем, чего она ещё не знает. Астрид — с закрытым лицом. Она сама — с расписанием в голове, с чувством, что если не держать это всё руками, оно расплзётся, как вода из треснувшей чашки.

И вот озеро. И бабушка была здесь — может, стояла на этом же берегу, смотрела на этот же лёд. Инге стало неудобно, будто она вошла в чужую комнату без стука.

— Идём? — сказала она.

Арсений кивнул.

Они развернулись. Шли обратно молча — сосны, камни, след от их же ботинок в снегу. Ветер дул в спину теперь, но от этого не было теплее. Инга смотрела на корпус пансионата: деревянный, облупленный, с выцветшей вывеской над входом, которую она утром не удосужилась прочитать целиком.

«Золотые пески». Зимой никаких песков не было. Только снег, лёд, серое небо.

Она думала: вечером будут фотографии. Это хорошо. Это конкретно. С фотографиями можно говорить, не глядя друг на друга, — смотришь в снимок, говоришь про снимок, и это немного легче, чем в лицо.

Арсений шёл рядом. Молчал своим незакрытым молчанием.

Инга не стала его нарушать.

* * *

Арсений сказал «на полчаса» — и ушёл. Шаги затихли в коридоре, скрипнула дверь, и стало тихо.

Инга осталась сидеть у стола. Напротив — Астрид.

Общий зал был такой, какими бывают все советские общие залы: высокий потолок, лепнина по углам с отбитыми завитками, два больших окна, за которыми ничего, кроме серого. Рояль в углу, крышка закрыта. Камин, пока не разожжённый — вечером. Три кресла вокруг низкого стола, покрытого дорожкой из грубого сукна.

Астрид сидела в кресле напротив и смотрела в телефон. Большим пальцем проводила по экрану — вверх, чуть вниз,

снова вверх. Инга знала: там нет интернета. Она сама проверила ещё вчера ночью, когда Арсений уже спал, — вышла на крыльцо, поймала два деления голосовой, больше ничего.

Астрид листала пустое. Это было понятно без слов.

Инга переложила руки на колени. Посмотрела в окно — один из них, правый, был чуть запотевший снизу, у подоконника. Снаружи стояли сосны. Облака шли низко, плотно, без просвета.

Можно было сказать что-нибудь. Наверное, нужно было.
— Тебе в комнате не холодно?

Вопрос получился ровным. Практическим. Именно таким, каким и должен был быть.

Астрид подняла глаза. Секундная пауза.

— Нет.

— Я просто хотела убедиться, что батареи работают.

Астрид ничего не ответила.

Инга кивнула — сама себе, потому что Астрид не смотрела. Значит, с отоплением в её комнате в порядке. Это хорошо. Это было единственное, что она хотела выяснить.

Она не хотела выяснять ничего другого.

За окном прошёл порыв ветра — Инга слышала его раньше, чем увидела, как качнулись верхушки ближней сосны. Сукно на столе было чуть смятым у края, там, где, наверное, кто-то ставил чашку. Она отвела взгляд от стола.

Астрид листала. Большой палец двигался ровно, без оста-

новок — туда и обратно, туда и обратно. Инга смотрела не прямо, боковым зрением. У Астрид под глазами были тени — синеватые, чуть заметные, такие бывают после долгой дороги или плохой ночи. Поезд, потом автобус, потом ещё два часа на машине — Инга сама приехала вчера разбитой, хотя не показывала. Астрид, наверное, тоже.

Она не стала этого говорить.

Молчание лежало в комнате как ещё один предмет мебели — неудобный, громоздкий, но такой, с которым уже смирились. Два года молчания по телефону. Теперь — здесь, в одном помещении, с расстоянием в метр между креслами.

Это не было враждебностью. Это было что-то хуже — акуратная, выверенная пустота.

Инга подумала: нужно сказать что-нибудь ещё. Про ужин, который надо организовать к вечеру. Про дрова — хватит ли того, что сторож привёз вчера. Про фотографии, которые Арсений сложил на комод в своей комнате, и которые, видимо, будут смотреть сегодня у камина. Про то, что нужно найти, чем зажечь камин.

Про что угодно, кроме того, что под этим лежало.

Она не сказала ни про что.

Астрид вдруг убрала телефон на колени. Не спрятала — просто положила экраном вниз. Посмотрела не на Ингу, а куда-то мимо, к окну с запотевшим стеклом.

— Ты знала, что бабушка здесь отдыхала?

Инга открыла рот. Закрыла.

— Нет.

Это была правда. Она не знала — узнала только вчера, от Арсения. И даже тогда это было странно — не больно, не радостно, просто странно, как бывает, когда получаешь информацию, которая не вписывается ни в одну из её схем.

Астрид смотрела в окно. Ничего не добавила.

Инга ждала продолжения. Его не было.

Она подумала: Астрид, наверное, знала раньше неё. Или не знала, и слышала от Арсения, и у неё это вызвало что-то другое, чем у Инги. Что-то, о чём она не собиралась говорить. Астрид никогда не говорила о том, о чём не собиралась говорить, — это Инга помнила хорошо, это было, пожалуй, единственное, что у них было похожим.

Разница в том, что Астрид умела молчать как будто не напрягаясь. Инга молчала с усилием.

Она почти спросила: «Как ты об этом узнала?» — но не спросила, потому что это потянуло бы за собой следующий вопрос, и следующий, и в какой-то момент они оказались бы в разговоре, к которому ни та ни другая не были готовы. Не сейчас. Не в воскресенье утром, в первый полный день, когда Арсений ушёл «на полчаса» и они остались вдвоём совершенно случайно.

Астрид встала.

Она встала без объяснений, без «извини» или «я на минуту» — просто поднялась из кресла, подошла к окну и встала к нему лицом. Смотрела на улицу — на сосны, на серое небо.

Её отражение в стекле было слабым, почти прозрачным.

Инга осталась сидеть.

Это было правильным решением — она понимала это не сразу, а через несколько секунд, когда почувствовала, что не встала тоже, не подошла, не заполнила пространство между ними своим присутствием. Дала Астрид стоять у окна. Дала себе сидеть в кресле.

Это, наверное, и было сейчас всем, что они могли сделать друг для друга.

Снаружи ветер тронул верхушки сосен. Запотевшее стекло у подоконника не изменилось — всё так же белёсое снизу. Рояль стоял в углу с закрытой крышкой.

Инга подумала про вечер: камин, фотографии, Арсений, который вернётся через полчаса. Это было конкретным. За конкретным можно было держаться.

Она держалась.

* * *

После ужина Арсений принёс конверт. Просто поставил его на стол у камина — старый, коричневый, с затёртыми краями — и не сказал ничего.

Инга смотрела на брата несколько секунд, потом на конверт. Спросить «что это» не позволяло что-то, чего она не могла назвать точно. Предчувствие, наверное. Или нежелание быть тем человеком, который всегда спрашивает.

Арсений достал фотографии сам. Разложил на столе веером, без системы — старые, с белой каймой, некоторые с

жёлтым по краям, будто их держали в руках слишком много раз или, наоборот, слишком долго не трогали. Камин гудел слева. Снаружи было тихо — метель ещё не началась, только ветер иногда задевал ставни, и они отвечали коротко.

Астрид придвинулась к столу первой.

Инга взяла верхнюю фотографию. Деревянное крыльцо — бабушкина дача, она узнала его сразу, раньше чем успела понять как. Серая краска на перилах, облупившаяся с левой стороны. На заднем плане, почти за кадром, угол качелей — верёвка и доска, уже тогда немного скошенная.

Что-то сжалось в груди. Она не стала называть это словом.

Перевернула снимок — ничего, ни даты, ни подписи.

— Откуда они у тебя? — спросила она.

— Мама отдала. — Арсений смотрел на стол, не на Ингу.
— Когда я сказал, что еду.

Астрид взяла другую фотографию. Подержала. Потом положила перед собой так, чтобы свет от камина падал прямо на неё, — и замерла.

Инга видела снимок наискосок: девочка лет десяти держит за руку маленькую, почти кукольную, Астрид — у тех самых качелей, чуть в стороне. Старшая смотрит куда-то мимо объектива. Младшая смотрит на старшую.

Она узнала себя не сразу. Потом узнала — и стало неловко, будто увидела что-то чужое.

— Это, наверное, то лето, — сказал Арсений.

Никто не спросил, какое. Незачем было.

Камин щёлкнул. Огонь качнулся, тени по потолку сдвинулись и вернулись на место.

Астрид сказала тихо, не поднимая взгляда от снимка:

— Я помню, что упала. И что тебя не было рядом.

Не с обвинением — Инга следила за её голосом, за интонацией, за тем, есть ли там что-то острое. Не было. Просто факт. Именно это и было хуже всего.

— Я побежала за бабушкой.

Голос получился ровным. Внутри — что-то похожее на панику, но тихую, как вода, которая начинает прибывать медленно и ты не сразу замечаешь.

Астрид ничего не ответила.

Арсений смотрел на стол. Потом сказал:

— Я ничего не помню. Мне было три.

Пауза. Он переложил одну фотографию, взял другую — машинально, будто руки должны были что-то делать.

— Но мама говорила, что ты плакала потом всю ночь, Инга.

Она не знала этого.

Или знала — и забыла. Или ей говорили, а она не удержала. Или мама говорила другим, не ей, и это всё время лежало где-то рядом, в той части семейной памяти, к которой у неё не было доступа.

Она не могла понять, что хуже.

Огонь в камине гудел ровно. Инга смотрела на фотографию в своих руках — крыльцо, серая краска, угол качелей,

— и думала: она помнит, что бежала. Она помнит гравий под ногами и то, что кричала «бабушка, бабушка» ещё до того, как добежала до крыльца. Помнит, что бабушка вышла с кухонным полотенцем в руках — и это полотенце было клетчатое, красно-белое, и это зачем-то сохранилось.

Она не помнила, как плакала ночью.

— Астрид нормально приземлилась, — сказала Инга. — У неё была только ссадина на колене.

— Я знаю, — сказала Астрид. — Я же там была.

Это прозвучало без яда. Просто поправка.

Инга положила снимок на стол. Руки были спокойные — она следила за этим. Астрид всё ещё смотрела на ту фотографию, где они вдвоём у качелей. Девочка смотрит на сестру. Сестра смотрит мимо.

Арсений сидел между ними и молчал. Не пытался ничего сгладить — просто молчал, и это было странно, потому что обычно в такие паузы он что-нибудь вставлял. Сейчас — нет.

Инга подумала: он знал, что принесёт эти фотографии. Он знал, что они к этому придут.

Она не стала спрашивать.

За окном ставни снова ответили ветру. Фотографии лежали на столе веером — выцветшие, с белой каймой, чужая память в чужих руках. Чья-то правда на каждой.

Инга не знала, сколько их там, этих правд, в одном лете, в одном дне. В их жизнях.

Она только знала, что плакала всю ночь — и не помнила

этого. И что это почему-то было важно. Важно так, как бывают важны вещи, которые ты не можешь сразу объяснить, но чувствуешь: вот оно, это что-то меняет.

Что именно — она ещё не знала.

* * *

Астрид сказала это спокойно, как поправляют географию.
— Ты уходила спиной. Я лежала на земле, а ты уже шла к дому. Спиной.

Инга почувствовала, как в груди что-то сжалось. Не резко. Как бывает, когда давление меняется — медленно, и ты понимаешь, что сейчас заболит.

— Я бежала, — сказала она. — К бабушке. Что ещё можно было сделать в десять лет?

Она услышала, что голос пошёл чуть быстрее. Поправила себя. Сделала паузу. Продолжила ровнее:

— Позвать взрослого. Это логично. Именно это и было нужно.

Астрид не возразила. Она смотрела на фотографию — ту самую, с качелями, с девочкой в белой панаме. Потом сказала:

— Я не говорю, что ты виновата.

— Хорошо.

— Я говорю, что я помню. Что ты уходила.

Инга посмотрела на неё. На профиль, на руку с фотографией. На то, как Астрид держала снимок — двумя пальцами, за угол, как что-то, что может рассыпаться.

Астрид не злилась. Это было хуже, чем злость. Злость можно было бы поставить на место, отвести за линию, обозначить границу. А это — нет. Это просто сидело рядом, как факт, у которого нет возражений.

Камин потрескивал. Угли осели, пламя стало ниже, рыжее, спокойнее. Арсений смотрел в огонь. Не в стол, не в фотографии — в огонь. Молчал.

Обычно в такие моменты он что-нибудь вставлял. Не чтобы разрядить — он никогда не умел по-настоящему разряжать, — но чтобы дать кому-нибудь опереться. «Может, она имеет в виду...», «Ты не слышала...». Сейчас ничего.

Инга не понимала, хорошо это или плохо.

Она опустила глаза на фотографию в своих руках. Не на ту, с качелями. На другую — они с Астрид стоят на крыльце, она держит маленькую сестру за руку. Астрид смотрит куда-то вбок. Она сама смотрит в объектив. Лицо серьёзное, как всегда — даже на снимках она умудрялась выглядеть так, будто отвечала за происходящее.

Она не помнила, когда это было сделано. До того дня или после.

Она помнила гравий. Помнила полотенце — красно-белое, клетчатое. Помнила, что бабушка шла быстро, но не бежала, потому что бабушка никогда не бегала, это было её правилом — не паниковать. И помнила Астрид на земле — коленка в пыли, взгляд снизу вверх.

Но не помнила, что говорила ей перед тем, как побежать.

Или молчала. Или, может, вообще ничего не сказала — просто развернулась и пошла, потому что в десять лет это казалось очевидным: надо за взрослым, надо быстро, надо сейчас.

Может, для пятилетней это выглядело как: сестра ушла.

Инга положила фотографию на стол. Аккуратно. Рядом с остальными.

— Может, — сказала она, — мы просто помним разное.

Это вышло ровно. Даже слишком ровно — она сама это слышала. Не примирение. Попытка зафиксировать нейтральную точку, которую оба могли бы принять без потерь. Так иногда делаешь в переговорах — предлагаешь формулировку, которая технически верна, потому что настоящая правда пока не доступна никому.

Астрид подняла глаза.

Смотрела на неё долго. Без выражения — или с таким выражением, которое Инга не умела читать. Не согласие, не возражение. Что-то между.

Потом кивнула.

Не «да». Скорее — «слышу».

Арсений потянулся к фотографиям. Собрал их, не торопясь, стопкой — выцветшие, с белой каймой, чужая хронология в чужих руках. Вложил в конверт. Сложил клапан. Положил рядом с собой на диван.

Никто не сказал «спокойной ночи».

Инга смотрела на огонь. Угли теперь были почти синими у

основания — это значило, что дрова почти прогорели. Нужно было подбросить. Она знала, как это делать: взять с поленицы справа, выбрать не слишком толстое, открыть заслонку.

Она не встала.

В комнате пахло сосной и золой. За ставнями ветер перебирал что-то деревянное — ритмично, без смысла.

Плакала всю ночь.

Инга не знала этого. Или знала — и не удержала. Или мама говорила не ей, а кому-то ещё, и эта часть просто никогда до неё не дошла. Семейная память устроена странно: одним достаётся одно, другим — другое, и никто не знает, у кого полная картина, потому что полной картины, может быть, вообще не существует.

Может, мы просто помним разное.

Это было не примирение. Она это понимала. Это было — возможность не идти дальше прямо сейчас. Не потому что неважно, а потому что в этой комнате, с этим огнём, с этими людьми — она не знала, куда идти дальше. Не знала, что стоит за следующим шагом. И не умела двигаться туда, где не видела дно.

Арсений встал. Негромко. Поднял конверт с фотографиями, положил его на край подоконника, не объясняя зачем. Просто убрал с общего пространства.

Астрид сложила руки на коленях.

Инга смотрела на стол — пустой теперь, без фотогра-

фий. Потёртая поверхность, несколько кружек, ложка поперёк блюда. Всё на своих местах. Всё управляемо.

Только вот не это было важно.

Глава 3

Утро третьего дня началось с ветра.

Астрид стояла у окна общего зала и смотрела, как ничего не меняется. Снег шёл теперь иначе — не было отдельных снежинок, только сплошное движение, как будто кто-то мял бумагу прямо снаружи. Сосны исчезли. Вчера они ещё угадывались — тёмные столбы за стеклом. Теперь — нет. Только белое, и за ним ещё белое.

Она прижала ладонь к стеклу. Холод вошёл в кожу сразу, без предупреждения.

Ветер не свистел. Это было странно — она ожидала свиста, визга, чего-то с острыми краями. Но ветер давил. Ровно, без пауз, без смены тона. Как будто кто-то снаружи держал дверь с той стороны и не собирался отпускать. Рамы не дрожали. Просто — давление. Постоянное, тупое.

За спиной, откуда-то из коридора, донёсся слабый звон — кружка, наверное. Инга уже на кухне.

Астрид не повернулась.

Она думала о нейронных сетях — почему-то именно сейчас, у окна, в сером утреннем свете. О том, как мозг обрабатывает монотонный раздражитель: сначала реагирует, потом привыкает, потом перестаёт. Через час этот ветер станет фоном. Через два — она забудет, что он есть. Но пока — пока он был слышен как стена.

Хлопнула входная дверь.

Арсений вошёл с улицы — иней лёг на плечи куртки тонким белым слоем, почти декоративным, как будто его специально посыпали. Он потёр ладони, прошёл к столу в общем зале, положил телефон экраном вниз.

— Дорогу замело. — Голос ровный, без интонации вверх или вниз. — Василич говорит, до шоссе не проехать.

Из кухни вышла Инга, остановилась у стойки.

— До шоссе или вообще?

— До шоссе. Дальше не знает.

Астрид не двинулась от окна. Она смотрела на иней на плечах брата — как он таял, медленно, неравномерно, пятнами. «До шоссе не проехать» — это был факт. Просто факт, без паники, без катастрофы. Арсений произнёс его так, как произносят сводку погоды, которую читали заранее и уже приняли к сведению.

— Сколько дров? — спросила Инга.

Она уже стояла у поленницы в углу — считала, поднимала, прикидывала вес. Астрид наблюдала за ней со спины: прямая, чёткая, в свитере с закатанными рукавами. Плечи не опущены. Она не боится — она думает, что если посчитать, то бояться будет нечего.

Это было узнаваемо.

Астрид помнила это с детства. Когда что-то шло не так — Инга начинала убирать, составлять, проверять запасы. Однажды во время грозы она вслух пересчитала все свечи в до-

ме бабушки. Ей тогда было двенадцать. Астрид семь. Арсений пятилетний сидел под столом, и Инга говорила: «восемь свечей, нам хватит», — и это действительно помогало. Тогда помогало.

— Дров дня на четыре, — сказал Арсений. — Может, пять. Зависит, как топить.

— Еда?

— Я брал с запасом.

— Связь?

— Только голосовая. На крыльце. Одно деление, иногда два.

Инга кивнула — раз, как галочка в списке. Потом перешла к холодильнику, открыла, постояла, закрыла. Что-то сказала про крупы, но Астрид уже не слушала.

Она взяла со спинки дивана шарф. Намотала на шею — раз, ещё раз. Вышла в холл.

На крыльце было больно.

Не потому что очень холодно — она не успела замёрзнуть. Просто когда открыла дверь, ветер ударил сразу, в лицо, в лёгкие, и воздух оказался твёрдым. Не острым, не режущим — именно твёрдым, как будто вдыхаешь что-то с весом. Она остановилась на нижней ступени, не сходя дальше.

Вытащила телефон. Два барашка сигнала — не полных, нижних. Она написала сообщение Маше — просто «мы застряли, всё нормально» — и нажала отправить. Значок завис. Крутился. Потом — серый, не ушло.

Ещё раз. То же.

Вокруг был только белый шум. Не тишина — именно шум, только без тонов. Сплошное. Астрид смотрела на телефон и думала, что где-то там, за этим белым, есть Петербург, есть лаборатория, есть кафе на Петроградской, где она сидит иногда с ноутбуком и чувствует, что всё в порядке, потому что вокруг — люди, движение, трамвай за стеклом.

Здесь не было ничего.

Только давление.

Она убрала телефон. Вернулась внутрь, не сказав ничего — некому было говорить, только себе, а себе это не нужно было слышать вслух.

В общем зале было теплее. Арсений сидел на диване, смотрел в огонь. Инга стояла у окна — теперь у другого, у кухонного, — и что-то ещё проверяла или просто смотрела. Никто не спрашивал, откуда Астрид пришла. Это было привычно: в этом доме давно уже не спрашивали о таких вещах.

Арсений поднял взгляд.

— Холодно?

— Да.

Астрид прошла мимо него, взяла с полки книгу — не свою, чью-то из пансионатной библиотечки, — и села в кресло подальше от окна. Раскрыла на случайной странице. Слова не складывались.

За стеной — в Ингиной комнате — шаги. Ровные, без спешки: туда и обратно, как будто она что-то искала, но не

могла найти. Или просто не хотела останавливаться.

Астрид закрыла книгу.

Ветер за стенами не менялся. Давил — тупо, постоянно, без злости. Просто был.

Она задула свечу на столике, поднялась, пошла в коридор. Остановилась у Ингиной двери — секунду, не больше. Ничего не сказала. Прошла дальше, к своей комнате.

Легла, не раздеваясь поверх одеяла.

Слушала, как Инга ходит.

* * *

Кофе Астрид варила сама — не доверяла растворимому, которое нашла в шкафчике над мойкой. Нашла турку в самом дальнем углу, медную, с чёрным доньшком, похожую на нагар. Помыла, насыпала. Пока вода грелась, стояла у плиты и смотрела, как за окном — ничего. Просто белое. Окно кухни выходило во двор, где вчера ещё можно было различить сетку забора и силуэт сторожки. Сейчас там был только снег.

Инга сидела за столом. Листок перед ней — мелкий почерк, несколько строк. Что именно — не видно, но сама поза говорила достаточно: локти на столе, взгляд вниз, ручка зажата в пальцах, хотя она не писала. Просто держала.

Астрид не спрашивала.

Турка зашипела. Она убавила огонь, подождала пенку, сняла с плиты. Налила в кружку. Кружка была казённая, советская, с голубой полосой по краю, слегка щербатая с одного бока. Астрид поставила её на стол и обхватила обеими ру-

ками — не потому что хотела пить, а потому что руки мёрзли.

В доме было не холодно. Но как-то не тепло.

— Надо было проверить прогноз перед выездом.

Инга не подняла взгляд. Сказала это в листок, в ручку, в стол — туда, где лежали её записи. Тон был ровный. Не злой. Даже не упрекающий — просто факт, который нужно зафиксировать, потому что иначе он повиснет в воздухе и начнёт давить сам по себе.

Астрид выпила глоток кофе.

Он был горячий, слишком. Она сделала глоток и не почувствовала ничего — только тепло, которое спустилось в грудь и осталось там.

— Ты и проверяла.

Пауза была очень короткой — секунда, может, полторы. Но достаточно длинной, чтобы обе услышали, что именно было сказано.

— Ты всегда всё проверяешь.

Инга наконец подняла взгляд. Смотрела секунду — спокойно, оценивающе, как смотрят не на человека, а на задачу, которую нужно классифицировать. Потом опустила глаза обратно.

— Прогноз был нормальный.

— Я знаю.

— Так в чём вопрос.

Это не было вопросом. Интонации не хватало для вопроса

— она убрала её намеренно, потому что вопрос означал бы готовность слушать ответ.

Астрид поставила кружку.

Кофейный запах в кухне мешался с чем-то деревянным, сырым — запахом, который шёл, кажется, из стен. Из самого пансионата. Он пропитал дерево за пятьдесят лет так, что уже не отличался от него: не пахло старостью, пахло просто — местом. Астрид вдохнула и подумала, что через неделю от неё тоже будет пахнуть этим.

— Не в чём, — сказала она наконец.

Инга собрала листок — быстро, будто убирала со стола что-то лишнее, — и взяла чайник. Налила себе кипятка в кружку. У неё была не казённая кружка, а своя, привезённая с собой: тёмно-синяя, без принта, без надписей. Астрид заметила это ещё вчера и почему-то запомнила.

Молчание установилось плотное.

Не злое. Злое было бы легче — в него можно войти и выйти, оно имеет температуру и границы. Это было другим: вязким, как воздух перед грозой, только без грозы. Без разрядки. Просто давление.

За окном что-то менялось в белом — порыв, наверное, — и на секунду снег стал виден не как фон, а как движение. Потом успокоился.

Инга стояла у мойки, ждала, пока остынет кипяток.

Астрид смотрела в свою кружку.

Она думала: четыре дня. Четыре дня ещё. Может, больше

— если дорогу не расчистят раньше. Она попробовала представить, как это выглядит снаружи: трое людей в деревянном доме на берегу замёрзшего озера, метель, белый экран вместо пейзажа. Ей стало смешно — не весело, а именно смешно, как бывает, когда ситуация слишком точно попадает в то, чего боялась.

Шаги в коридоре.

Арсений вошёл в кухню в свитере и в носках — один шерстяной, второй хлопковый, не пара. Он всегда так ходил дома, с детства, Астрид это помнила. Посмотрел на неё, потом на Ингу, потом на стол между ними.

Ничего не сказал.

Взял кружку с полки — любую, первую попавшуюся, — налил себе из чайника и сел. Не между ними намеренно, не так, чтобы это выглядело как миротворство. Просто сел туда, куда было удобно, — а удобно оказалось между ними.

Обхватил кружку. Посидел молча.

Астрид наблюдала за ним. Он смотрел в стол — рассеянно, как смотрят не в стол, а внутрь себя. Потом его рука опустилась чуть ниже, вниз, к карману куртки — куртки поверх свитера, он так и не снял её. Пальцы коснулись ткани снаружи. Не полезли внутрь — просто тронули. Проверили. Как трогают ключи, когда выходят из дома, — не потому что сомневаются, а потому что иначе не успокоиться.

Инга этого не видела: она стояла спиной.

Астрид убрала взгляд.

Выпила ещё глоток кофе, и на этот раз почувствовала вкус — горький, немного кисловатый, правильный. За окном снег лежал на всём. И на том, что было снаружи, и на том, что внутри.

* * *

Боковая дверь не скрипела — просто подалась с сопротивлением, как будто примёрзла немного к косяку, и Астрид вышла, потянув сильнее.

Снег перестал. Это она поняла сразу — по тишине, которая стала другой. Пока шёл снег, тишина была заполнена им: мягкой, почти слышимой работой падения. Теперь она была пустой. Небо лежало низко, белёсое, без просветов — не серое, а именно белёсое, как кожа человека, которому плохо.

Она пошла не по дорожке, а прямо. Под ногами наст скрипел чисто и сухо, держал.

Астрид не взяла шарф — забыла, или не захотела возвращаться. Куртка была застёгнута до подбородка, перчатки были, и этого пока хватало. Воздух входил в лёгкие плотно, почти с усилием. Она подумала: так дышат на большой высоте — когда тело работает чуть интенсивнее, чтобы взять своё.

Пансионат остался за спиной. Она не оборачивалась.

Берег открылся неожиданно — точнее, она поняла, что уже стоит на нём, только когда наст под ногами стал чуть другим: не таким чистым, с редкими вмятинами от веток, занесённых снегом и вмёрзших. Она остановилась.

Смотрела.

Граница не читалась. Берег переходил в лёд, лёд переходил в снег на льду — и всё это было одной плоскостью, одним белым, уходящим до горизонта, который тоже был белым. Озеро выглядело как поле. Как луг после метели. Если бы она не знала, что здесь озеро, она бы шла дальше.

Единственное, по чему можно было понять, — лодка.

Она торчала из белого в полуметре от того места, где, вероятно, начинался лёд. Деревянная, крашенная когда-то в зелёный, теперь — в цвет старого дерева. Нос вмёрз, корма сидела выше, чуть завалившись набок. Казалось, лодка пыталась вылезти из льда, но не смогла. Верёвка уходила куда-то под снег. Лодка была единственной точкой, которая нарушала плоскость, давала масштаб, объясняла пространство.

Астрид смотрела на неё и думала о том, как мозг строит границы.

Это была не праздная мысль — она думала об этом в связи с работой. Гиппокамп кодирует пространство через ориентиры: уберите ориентиры — и карта рассыпается, человек теряет понимание, где находится. Не в смысле «заблудился», а в смысле более фундаментальном: пространство перестаёт быть структурированным, превращается в поле без значений. Испытуемые в сенсорных депривациях начинали видеть границы там, где их не было, — мозг создавал их сам, потому что без них не мог работать.

Озеро сейчас выглядело именно так: пространство без границ.

Можно было шагнуть и не заметить.

Она не шагала.

Стояла на берегу и смотрела на лодку, и думала о том, что Инга тоже стоит где-то на берегу чего-то — на берегу того разговора, который не состоялся, или того, который она не умеет начать, или того, который начала неправильно утром. Стоит и не шагает. Смотрит на белое и не может разобрать, где земля, а где уже лёд.

Это не было примирением. Астрид не чувствовала примирения — она чувствовала только то, что это наблюдение точное. Инга на берегу. Она сама на берегу. Арсений — наверное, тоже, только он не стоит, он ходит по берегу взад-вперёд и следит, чтобы они не провалились, и при этом у него в кармане что-то лежит, что он не показывает.

Она заметила это — когда именно, уже не важно. То, как его рука снова и снова опускается к карману. Не случайно. Как будто проверяет. Как трогают место, которое болит: не потому что хотят, а потому что не могут не тронуть.

Ветер тронул снег на льду — или на берегу, она уже не понимала, где именно, — и по белой поверхности пошла поземка, тонкая, как дыхание.

Астрид смотрела, как она движется.

В лаборатории у неё был стенд с данными о том, как нейроны места реагируют на изменение контекста: один и тот же физический маршрут, но с изменёнными ориентирами — и клетки начинают стрелять иначе, строить другую карту.

Мозг не обновляет старую карту. Мозг строит новую. А старая остаётся. Обе существуют одновременно.

Она думала об этом применительно к прошлой ночи — к фотографиям, к разговору у камина. У них у каждого была своя карта того дня с качелями. Не потому что кто-то лгал. Просто разные ориентиры. Разные нейроны места. Разные карты — и все настоящие, и все неполные.

Инга помнит, что бежала за помощью.

Астрид помнит спину.

Обе — правда. Обе — часть.

Ветер усилился. Астрид почувствовала, что не чувствует пальцев — не всех, но тех, что у запястий, там, где куртка не прикрывала. Она посмотрела на руки. Перчатки были на месте. Просто холодно было сильнее, чем она думала, пока стояла.

Сколько она простояла — она не знала. Небо было такое же белёсое, без теней, без изменений, по нему нельзя было прочитать время.

Лодка стояла в белом.

Астрид повернулась и пошла обратно.

Наст скрипел под ногами — теперь чуть по-другому, потому что она шла быстрее. Пансионат появился между деревьями: деревянный, с тёмными окнами, из трубы шёл дым. Она смотрела на него и думала: вот ориентир. Вот точка, по которой понятно, где земля.

Боковая дверь подалась с тем же сопротивлением — из-

нутри дохнуло теплом, запахом горящего дерева и чьего-то кофе.

Она вошла и закрыла дверь за собой.

* * *

Коридор был длинным — длиннее, чем казался, когда она шла по нему в первый раз. Может, потому что тогда она шла не одна. Сейчас — сама.

Астрид прошла мимо закрытой двери Инги, мимо общего зала, откуда тянуло остывшим дымом, и остановилась.

Арсений сидел на подоконнике в конце коридора. Ноги свешены, спиной к стене, кружка двумя руками — как будто грел ладони, хотя кружка, судя по цвету, уже успела остыть. Смотрел в окно: там ничего не было, только белое, ветер гнал снег горизонтально.

Он не повернулся, когда она вошла. Просто сказал:
— Там холодно.

Не вопрос. Не упрёк. Просто — факт. Как сказали бы про погоду незнакомому человеку на улице, только без неловкости.

Астрид остановилась рядом. Стянула варежки — пальцы у запястий ещё не отошли — и сунула их в карман. Не ответила. Её ответ был бы: да, холодно, я стояла там, наверное, с полчаса, и всё равно не ушла сразу. Но это требовало объяснений, которых у неё не было.

Она встала рядом с подоконником. Облокотилась на стену.

За окном снова метель делала своё дело — методично, без перебоев, как что-то отлаженное. Деревья по периметру согнулись ещё сильнее, чем утром. Дорожку к воротам занесло полностью.

Молчание легло между ними.

Астрид почувствовала, что замечает его — молчание, — и сравнивает. С утренним разговором с Ингой про прогноз: там тишина была другой, плотной, заряженной, как перед грозой, хотя гроза уже прошла и всё равно не разрядилась. Там каждое молчание было продолжением разговора другими средствами.

Здесь — просто было.

Арсений не ждал от неё ничего. Не смотрел с той чуть заметной напряжённостью, с которой Инга смотрела всегда — будто готовилась к реплике, которую надо будет парировать. Он просто сидел и держал остывшую кружку, и это было, пожалуй, единственное незатруднённое место во всём пансионе.

Так они и стояли — сидели — несколько минут. Метель за стеклом. Горелое дерево откуда-то издалека.

Потом Арсений переложил кружку в одну руку и опустил другую. Она машинально проследила. И увидела, как пальцы опускаются к карману куртки — не цепляют, не лезут внутрь, просто касаются снаружи. Одно движение. Быстрое. Как если бы проверял, что ничего не пропало.

Она узнала этот жест. Вчера вечером. Когда он убирал

конверт с фотографиями.

Её взгляд задержался на его руке.

Арсений убрал её — резче, чем нужно, если бы это было ненамеренно. Поставил кружку на подоконник.

Молчание изменилось. Чуть-чуть. На какую-то долю, которую нельзя назвать, но можно почувствовать — как когда нейроны места стреляют вхолостую, и ты понимаешь, что контекст сменился, хотя физически ты стоишь там же.

— Что у тебя в кармане? — сказала она.

Тихо. Не как обвинение. Просто вопрос.

Арсений поднял взгляд — первый раз с тех пор, как она вошла в коридор. Посмотрел на неё. Она ответила на взгляд, не отводя.

Пауза была долгая. Не театральная — просто настоящая, та, что возникает, когда человек на самом деле думает, что сказать.

— Ничего важного, — сказал он.

Голос ровный. Но слишком — как бывает, когда следят за тем, чтобы он был ровным.

Астрид смотрела на него. Он не добавил ничего: не объяснил, не отшутился, не спросил встречно — зачем ты спрашиваешь. Просто ответил и ждал.

Она могла бы надавить. Это было бы легко — сказать: «Я видела вчера», или: «Ты каждые полчаса туда лезешь», или: «Арс, я же не слепая». Слова были готовы, они лежали близко, почти на поверхности.

Она не стала.

Не потому что тема закрыта. Просто потому что — не сейчас. Не здесь, в этом коридоре, где он держал остывшую кружку и смотрел на неё так, как смотрят, когда ждут, а не когда защищаются. Потому что между «я не верю» и «я хочу разобраться прямо сейчас» — расстояние, и она не была уверена, что хочет его проходить в понедельник после метели и озера и ссоры с Ингой.

— Хорошо, — сказала она.

Арсений моргнул.

Она отвернулась к окну. За стеклом метель продолжала своё — горизонтальная, белая, как будто мир снаружи потерял вертикаль.

В лаборатории есть понятие: отложенная интеграция. Когда мозг получает информацию, которую не может обработать сразу — он её не выбрасывает. Просто убирает в сторону. Иногда на ночь. Иногда на годы. А потом в какой-нибудь момент, когда нет давления, оно всплывает — и вдруг понятно.

Она запомнила жест. Запомнила, как он убрал руку быстрее, чем нужно. Запомнила: «ничего важного» — и то, каким голосом это было сказано.

Это никуда не денется.

Она возьмёт это с собой. Подождёт. Посмотрит.

Рядом Арсений снова взял кружку. Они стояли — сидели — бок о бок у окна, и метель шла своим ходом, и из-за за-

крытой двери общего зала не было ни звука.

* * *

Ветер не стихал.

Это было главным — не изоляция, не отсутствие интернета, не то, что дорога к шоссе наверняка занесена по капот. Главным было это ровное, непрерывное гудение в стенах, как будто пансионат дышал через силу. Астрид сидела на диване с блокнотом на коленях и думала: так выглядит тиннитус изнутри. Не боль — фон. Перестаёшь замечать, но он не уходит.

Камин горел хорошо. Арсений принёс дрова ещё до темноты, без разговоров — просто поставил, пошёл, вернулся, поставил ещё. Астрид наблюдала, как он это делает: методично, с той скупой точностью движений, которая бывает у людей, умеющих работать руками. Она никогда не умела работать руками. Она умела сидеть неподвижно так долго, что об этом забывали, — это другое.

Инга читала что-то на телефоне. Без интернета, значит сохранный — документ, статья, инструкция к чему-нибудь. Астрид не видела экрана, но могла угадать: что-то практическое. Что-то, к чему можно возвращаться и находить новые пункты для исполнения.

Они сидели втроём в общем зале не потому что хотели. Просто больше некуда было идти: коридоры холодные, комнаты ещё холоднее, и что-то в устройстве этого вечера — сгустившийся воздух, ранняя темнота за окном, тяжесть про-

житого понедельника — прибило их сюда, к огню.

Астрид открыла блокнот. Посмотрела на чистую страницу.

Ничего не пришло. Точнее, пришло, но не то — несколько строк про озеро, про то, как лёд выглядит как продолжение берега, про вмёрзшую лодку. Она записала две строчки, зачеркнула одну. Оставила другую.

Ветер снова дал о себе знать — протяжно, чуть выше тоном, как будто нашёл щель и удивился.

— Завтра, наверное, расчистят, — сказала Инга.

В пространство. Не к кому-то конкретно.

Арсений не ответил. Астрид тоже. Это был не вопрос — просто попытка произнести вслух что-нибудь нейтральное, чтобы пауза стала чуть менее плотной. Они все знали: сегодня не расчистят. И завтра — вряд ли. Метель такая не уходит за ночь.

Инга перевела взгляд обратно в экран.

Больше никто ничего не сказал.

Арсений встал — тихо, без объявления. Подошёл к роялю. Астрид заметила это краем зрения: он положил руку на крышку инструмента, но не открыл. Просто стоял так — ладонь на лакированном дереве, плечи чуть опущены.

Она смотрела на него.

Рояль был старый, советский, с выцветшей надписью «Красный Октябрь» — буквы почти стёрлись, угадывались по форме. Крышка не поднималась вчера легко, она помни-

ла. Арсений сам её открывал и закрывал, пока они ещё не знали, что это такое — просто пустой зал с инструментом.

Он думал о чём-то. Это было видно по тому, как он держал руку — не с нежностью, а с усилием, как будто удерживал что-то на месте. Что-то, что иначе бы сдвинулось.

Астрид не спросила. Она помнила коридор, его «ничего важного», ровный голос. Запомнила — и убрала. Не сейчас.

Арсений постоял ещё секунду, убрал руку и вернулся на своё место у камина.

Она снова опустила взгляд в блокнот.

Строчка про лодку была честная — это главное. Не красивая. Честная. Как всё, что она не говорит вслух. Она написала под ней ещё одну: короткую, в семь слов, про то, как граница между льдом и берегом стирается, если смотреть долго. Не стала читать вслух. Захлопнула блокнот с пальцем внутри — чтобы не потерять страницу.

Инга подняла взгляд от телефона.

Их взгляды встретились через комнату.

Астрид ждала: будет что-нибудь — слово, прищур, та особая скованность в плечах, которая у Инги означала контроль. Ничего не было. Только усталость — такая же, как у неё самой, наверное. Усталость, которая не от метели и не от изоляции, а от чего-то более старого.

Инга первой отвела взгляд. Без обиды. Просто — назад в экран.

Астрид разжала пальцы и дала блокноту закрыться.

Ветер гудел. Камин трещал. Арсений смотрел в огонь с тем выражением, которое она научилась читать ещё в детстве: он где-то внутри, далеко, но не скрылся — просто задумался. Разница небольшая, но она её чувствовала.

Они сидели втроём в общем зале советского пансионата на Алтае, и снаружи была метель, и дрова горели, и на крышке рояля осталось слабое пятно тепла — след его ладони, который уже остывал, хотя никто этого не видел.

Строчка в блокноте была про лёд.

Она не стала её переписывать.